

Габриэль
Гарсиа Маркес



Нобелевская
премия

Проклятое
время

[роман]



Габриэль Гарсиа Маркес

Проклятое время

«АСТ»

1962

Маркес Г.

Проклятое время / Г. Маркес — «АСТ», 1962

ISBN 978-5-271-40665-2

Макондо – маленький городок, ставший в произведениях Маркеса символом латиноамериканской провинции. Здесь чудеса и необъяснимые события так же привычны, как ссоры и примирения между супругами, измены и тайные страсти. Здесь все обитатели одновременно любят и ненавидят друг друга. Здесь каждый день случается многое – и в то же время не происходит ничего. Но однажды все меняется. Кто-то снова и снова развешивает на стенах домов листовки, где в живописных подробностях рассказывает о грехах и пороках горожан. Теперь тайное и впрямь становится явным. И ход событий уже не остановить...

ISBN 978-5-271-40665-2

© Маркес Г., 1962

© АСТ, 1962

Габриэль Гарсиа Маркес

Проклятое время

Падре Анхель степенно приподнялся и сел. Потер костяшками пальцев веки, откинул вязаную москитную сетку и замер на своей голой циновке, приходя в себя после сна и думая о том, какое сегодня число и день каких святых. «Вторник, четвертое октября»; и тихо молвил: – Франциск Ассизский.

Священник не умылся, не помолился, а сразу приступил к одеванию. Крупный, краснощекий, монументальной статью напоминающий быка идвигающийся, как укрощенный бык, – медленно и угрюмо. Кончиками пальцев он ощупал пуговицы сутаны с привычностью музыканта, бегло проверяющего строй инструмента. Падре отодвинул засов и распахнул дверь в патио. Под дождем склоненные туберозы напомнили ему слова песни.

– «Разольется от слез моих море», – со вздохом проговорил он.

Его дом соединяла с церковью крытая галерея, вымощенная неплотно подогнанными плитами, октябрьская трава пробивалась в щелях между ними. Вдоль стен галереи стояли горшки с цветами. Прежде чем идти в церковь, падре Анхель зашел в уборную. Пытаясь не вдыхать аммиачный запах, столь удушливый, что заслезились глаза, обильно помочился. Вернувшись в галерею, вспомнил: «Унесет меня в море грез твоих». Когда он входил в узкую заднюю дверь церкви, на него пахнул аромат тубероз.

Внутри скверно пахло. Неф, выходящий на площадь, был длинный, также вымощенный неплотно подогнанными каменными плитами. Падре Анхель прошел прямо в звонницу. Обратив внимание на гири часов высоко над головой, подумал, что завода хватит еще на неделю. Его окружили москиты. С размаху саданул себя ладонью по затылку, прихлопнул москита и вытер руку о веревку колокола. Словно в ответ, сверху раздался утробный скрежет мудреного механизма, а вслед за ним – глухие, глубокие, как будто звучавшие в его собственной утробе удары, отбившие пять часов.

Священник подождал, пока растает эхо последнего удара, взял веревку, намотал ее на кисть правой руки и с воодушевлением ударил в треснувшую медь колоколов. Ему исполнился шестьдесят один год. Звонить в колокола каждый божий день ему было уже тяжело, но он сам неизменно созывал прихожан на мессу, и эти усилия только укрепляли его дух.

Тринидад вошла, приоткрыв тяжелую парадную дверь, когда колокола еще звонили, и проследовала в угол, где накануне вечером расставила мышеловки. Там она увидела зрелище, вызвавшее в ней одновременно и восторг, и отвращение.

Из первой мышеловки двумя пальцами она взяла мышь за хвост и бросила в большую картонную коробку. Падре Анхель полностью отворил дверь на площадь.

– Утро доброе, падре, – сказала Тринидад.

Его красивый баритон не прозвучал в ответ. Безлюдная площадь, дремлющие под дождем миндальные деревья, весь городок, неподвижный в безрадостном октябрьском рассвете, пробудили в нем ощущение одиночества. Однако, когда слух его привык к шуму дождя, он различил кларнет Пастора, звучавший чисто, но как-то призрачно, с противоположной стороны площади. Падре наконец ответил на приветствие и добавил:

– Пастора не было с теми, кто пел серенаду.

– Не было, – подтвердила Тринидад, наклоняясь к коробке сдохшими мышами. – Он был с гитаристами.

– Распевали какую-то глупую песенку часа два, – сказал падре. – «Разольется от слез моих море» – так вроде?

– Это новая песня Пастора, – сказала Тринидад.

Будто замороженный, священник стоял перед распахнутой дверью. На протяжении многих лет он слышал игру Пастора, который ставил табуретку к подпорке голубятни, метрах в полутора от церкви, и каждый день в пять утра садился упражняться на своем инструменте. Казалось, у городка был некий механизм, заведенный на неизменную, последовательную точность: сначала, в пять утра, бой часов – пять ударов; вслед за ними – звон колокола, зовущего к мессе, и, наконец, кларнет Пастора в патио его дома, очищающий ясными и прозрачными нотами воздух, насыщенный запахом голубиного помета.

– Музыка отменная, – снова заговорил падре, – а слова глупые. Как ни переставляй, все одно: «Разольются от слез моих грезы, унесет тебя в море мое».

Довольный собственным остроумием, он повернулся и пошел зажигать свечи.

Тринидад последовала за ним. На ней был белый халат до пят с длинными рукавами и голубой шелковой лентой – признаком светскости. Черные глаза под сросшимися на переносице бровями сверкали, как угольки.

– Бродили тут всю ночь, – сказал падре.

– У дома Марго Рамирес, – рассеянно сказала Тринидад, встряхивая коробку с мышами. – Сегодня ночью было кое-что похлеще серенад.

Остановившись, падре направил на нее невозмутимый взгляд своих тускло-голубых глаз.

– Что было?

– Бумажки, – сказала Тринидад, не сдержав нервного смехотворения.

В это время, через три дома от церкви, Сесару Монтеро снились слоны. В воскресенье их показывали в кино, но за полчаса до окончания сеанса хлынул ливень, не дав досмотреть фильм, и теперь он продолжал крутиться во сне.

Сесар Монтеро привалился к стене всем грузным телом, а тем временем насмерть перепуганные туземки врассыпную панически удирали от слонов. Жена слегка пихнула его во сне, но ни она, ни он не проснулись.

– Уходим, – проворчал Сесар Монтеро, вернулся в прежнее положение и вдруг проснулся – в то самое мгновение, когда колокол к мессе звонил второй раз.

Дверь и окно в комнате затягивали провололочные сетки. Окно выходило на площадь, оно было задернуто гардиной из кретона в желтых цветочках. На ночном столике стояли портативный радиоприемник, настольная лампа и часы со светящимся циферблатом. У стены напротив высился огромный шкаф с зеркальными дверцами.

Кларнет Пастора Сесар Монтеро услышал, уже надевая ботинки для верховой езды. Шнурки из грубой кожи задубели от грязи, он потянул их с силой, медленно пропуская сквозь сжатый кулак, кожа на ладонях у него была еще жестче, чем шнурки. Он принялся искать шпоры, но под кроватью их не оказалось. Продолжил одеваться в полутьме, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить жену. Застегивая рубашку, посмотрел на часы и продолжил поиски шпор под кроватью. Он нагнулся, пошарил рукой, потом встал на четвереньки и заглянул под кровать. Жена проснулась.

– Ты что ищешь?

– Шпоры.

– За шкафом висят, – сказала она. – Ты их туда повесил еще в субботу.

Она отдернула москитную сетку и зажгла свет, а он со смущенным видом поднялся на ноги. Массивный, с квадратными плечами, он двигался легко, хотя подметки его сапог были тяжелыми и негнушимися, словно из дерева. В здоровье его было нечто звериное. Определить возраст Сесара Монтеро было невозможно, однако морщины на шее выдавали шестой десяток. Он сел на кровать и принялся привинчивать шпоры.

– Льет как из ведра, – сказала жена, ощущая своими тонкими, как у подростка, костями впитанную за ночь сырость. – Я как губка, впитавшая воду.

Субтильная и угловатая, с длинным острым носом и вечно сонным взглядом, она посмотрела на гардину, точно пыталась разглядеть сквозь нее дождь. Сесар Монтеро наконец пристегнул шпоры, встал и несколько раз притопнул ботинками – звон медных шпор отозвался во всем доме.

– Ягуар в октябре жиреет, – сказал он.

Но, замороженная звуками кларнета, жена его не слышала. Когда она снова на него посмотрела, он, с широко расставленными ногами, наклонив голову перед шкафом, причесывался. В зеркале он не помещался.

Негромко она напевала мелодию Пастора.

– Они бренчали это ночь напролет, – сказал он.

– Очень красивая мелодия, – отозвалась жена.

Женщина сняла с изголовья кровати ленту, собрала волосы на затылке, вздохнула и, уже совсем проснувшись, промурлыкала: «В твоих снах я остаюсь до самой смерти». На это муж не обратил внимания. Из ящика шкафа, где хранились какие-то украшения, женские часики и авторучка, он взял бумажник с деньгами, вынул из него четыре банкноты и снова положил бумажник на место. Потом сунул шесть ружейных патронов в карман рубашки.

– Если ливень не пройдет, в субботу не приеду, – сказал он жене.

Открыл дверь в патио, остановился на пороге, вдохнул хмурый запах октября и стоял там, пока глаза не привыкли к темноте. Сесар Монтеро уже собрался закрыть за собой дверь, когда в спальне зазвонил будильник. Жена слезла с постели. Он стоял, держась за задвижку, пока жена не заставила будильник смолкнуть, взглянул на нее в первый раз за все это время, размышляя о чем-то своем.

– Ночью во сне я видел слонов, – сказал он.

Закрыв за собой дверь и пошел седлать мула.

Дождь усилился перед третьими колоколами.

Порыв ветра, как будто взметнувшийся с земли, сорвал с миндальных деревьев на площади последние сухие листья, фонари погасли, но двери домов по-прежнему были наглухо закрыты. Сесар Монтеро въехал на муле под навес кухни и, не слезая с седла, крикнул жене, чтобы она принесла плащ. Он стащил с себя двустолку, висевшую у него за спиной, и закрепил ее ремнями перед седлом. Жена принесла плащ.

– Дождешься, может, пока перестанет? – неуверенно спросила она.

Молча он надел плащ и кинул взгляд в патио, на дождь.

– Не перестанет до декабря.

Взглядом она проводила его до конца галереи. Дождь с шумом рушился на ржавые листы крыши, но Сесара Монтеро это не остановило. Он пришпорил мула, и ему пришлось наклонить голову, чтобы, выезжая из патио, не удариться головой о косяк.

Дробинки капель с карниза падали на его плечи и расплющивались. Не оборачиваясь, он крикнул с порога:

– До субботы!

– До субботы, – отозвалась она.

На площади единственной открытой дверью была дверь церкви. Сесар Монтеро посмотрел вверх и увидел небо, тяжелое и низкое, в каком-нибудь полуметре над головой. Он перекрестился, снова пришпорил мула и, подняв его на дыбы, заставил покружиться, пока тот наконец не обрел устойчивость на скользкой, как мыло, земле. Тогда-то он и увидел листок, приклеенный к его двери.

Не слезая с мула, он прочитал его. От воды написанное поблекло, но все же слова из выведенных кистью жирных печатных букв прочитать было можно. Сесар Монтеро поставил мула вплотную к стене, сорвал листок и разодрал его в клочья.

Хлеща мула уздечкой, он погнал его мелкой ровной рысцей, рассчитанной на многочасовой путь. С площади он углубился в узкую кривую улочку, вившуюся между глинобитных домов, двери которых открывались и выпускали жар сна. Откуда-то потянуло запахом кофе, и только когда последние дома городка остались позади, он повернул мула и все той же мелкой и ровной рысцей повел его назад, к площади. Остановил его около дома Пастора. Там он неторопливо слез с седла, отвязал ружье и привязал мула к подпорке стены. На двери не было засова, лишь одна толстая большая пружина. Сесар Монтеро вошел в маленькую полутемную гостиную и услышал высокую ноту, за которой последовало напряженное безмолвие. Прошел мимо окруженного четырьмя стульями небольшого стола; на шерстяной скатерти стояла ваза с искусственными цветами. Наконец, остановившись перед открытой в патио дверью, он откинул с головы капюшон плаща и спокойно, почти дружелюбно позвал:

– Пастор!

В дверном проеме появился Пастор, сухощавый, прямо державшийся юноша с ровно подстриженным ножницами молодым пушком на верхней губе; он как раз отвинчивал мундштук от кларнета. Увидев перед собой решительно стоящего Сесара Монтеро с направленным на него ружьем, он беспомощно открыл рот, но ничего не смог сказать, а только побледнел и слабо улыбнулся. Сесар Монтеро плотнее уперся ногами в земляной пол, пристроил приклад к бедру и, каменно сжав челюсти, надавил на спусковой крючок. Дом содрогнулся от выстрела; извиваясь, как червь, по ту сторону порога в водовороте мелких птичьих перьев судорожно полз Пастор; оказался он там до или после выстрела – этого Сесар Монтеро сказать не мог.

В тот момент, когда прогремел выстрел, алькальд только-только начинал засыпать. Изможденный зубной болью, он провел без сна уже три ночи кряду. На рассвете, когда зазвонили к мессе, он принял восьмую таблетку. Боль слегка стихла. Монотонный стук дождевых капель по цинковой крыше помог заснуть, однако и во сне он чувствовал: зуб хотя и не болит, но все же пульсирует. Утренний выстрел разбудил алькальда, и он сразу схватился за пояс с патронташами и револьвером, который всегда клал на стул слева от гамака, чтобы в любой момент можно было дотянуться. Не слыша ничего, кроме шума дождя, он подумал, что выстрел ему приснился, и в этот момент зубная боль вернулась.

У него был небольшой жар, и когда лейтенант взглянул в зеркало, то обнаружил, что щека распухла. Он открыл баночку вазелина с ментолом и натер им опухшую щеку, затвердевшую и небритую. Сквозь дождь до него донеслись издали голоса. Алькальд вышел на балкон. Из домов выбегали люди, некоторые – полураздетые, и все бежали по направлению к площади. Какой-то мальчик повернул к нему голову и, взметнув руки, прокричал на бегу:

– Пастор, Пастор убит! Сесар Монтеро убил!

На площади Сесар Монтеро вращался на одном месте, наставляя дуло ружья на окружившую его толпу. Алькальд с трудом узнал его и тогда, левой рукой вытащив из кобуры револьвер, двинулся к центру площади. Люди расступались, давая ему дорогу. Из бильярдной выскочил полицейский с винтовкой и прицелился в Сесара Монтеро. Алькальд негромко крикнул ему:

– Не стреляй, сволочь!

Сунув револьвер в кобуру, он вырвал у полицейского винтовку и, готовый в любое мгновение открыть огонь, продолжал свой путь к середине площади. Люди прижимались к стенам.

– Сесар Монтеро, – крикнул алькальд, – отдай ружье!

Только обернувшись на голос, Сесар Монтеро увидел алькальда. Тот держал палец на спусковом крючке, но не стрелял.

– Сам возьми! – крикнул ему Сесар Монтеро.

На мгновение алькальд убрал с винтовки правую руку и вытер пот со лба. Он двигался, выверяя каждый шаг, палец по-прежнему лежал на спусковом крючке, взгляд был прикован к Сесару Монтеро. Внезапно остановившись, алькальд сказал дружелюбно:

– Оружие на землю, Сесар, хватит глупостей!

Сесар Монтеро попятился. Алькальд стоял, замерев, с пальцем на спусковом крючке, пока Сесар Монтеро не выпустил ружья из рук и оно не упало на землю.

Тут только алькальд заметил, что на нем пижамные штаны, что он мокрый от дождя и пота и что зуб не болит.

Стали открываться двери домов. Двое полицейских с винтовками побежали к середине площади, за ними устремилась толпа. На бегу они пугали людей дулами винтовок и кричали:

– Назад!

Алькальд, ни на кого не глядя, почти не повышая голоса, приказал:

– Разойдись!

Толпа рассеялась. Алькальд обыскал Сесара Монтере. В кармане рубашки он обнаружил четыре патрона, а в заднем кармане брюк – наваху с рукояткой из рога. В другом кармане нашел записную книжку, три ключа на кольцо и четыре бумажки по сто песо. Сесар Монтеро развел руки в стороны и с невозмутимым видом позволял себя обыскивать – почти не двигаясь, чтобы облегчить алькалду эту процедуру. Закончив, алькальд подозвал обоих полицейских и передал им Сесара Монтеро вместе с изъятими у него вещами.

– Ведите на второй этаж, – приказал он. – Вы за него отвечаете.

Сесар Монтеро снял с себя плащ, отдал его одному из полицейских и пошел между ними, не замечая ни дождя, ни волнения толпы. Алькальд проводил его задумчивым взглядом, а потом повернулся к толпе, махнул рукой, словно разгоняя домашних птиц, и прокричал:

– Разойдись!

Вытирая пот с лица, он протолкнулся между растерянными, бестолково мечущимися людьми, пересек площадь и вошел в дом Пастора.

Мать Пастора лежала, скорчившись, в кресле, окруженная женщинами, которые с истовым рвением обмахивали ее веерами. Алькальд потянул одну из них за рукав.

– Воздух ей не закрывайте, – сказал он.

Одна женщина обернулась:

– Она только собралась к мессе!..

– Прекрасно, – сказал алькальд, – но сейчас дайте ей дышать.

В галерее около голубятни, на ложе из окровавленных перьев, ничком лежал Пастор. Крепко пахло голубиным пометом. Несколько мужчин пытались поднять тело, когда в проеме двери показался алькальд.

– Разойдись! – крикнул он.

Мужчины опустили тело на перья, оставили его в том же положении, в каком нашли, и отступили в похоронном молчании. Алькальд окинул труп взглядом и перевернул. Посыпались крохотные перышки, на животе их налипло много, пропитанных теплой, еще живой кровью. Он счистил их руками. Пряжка ремня была раздроблена, рубашка разорвана. Приподняв рубашку, алькальд увидел внутренности. Кровь из раны уже не шла.

– Из такой пушки только ягуаров бить, – сказал кто-то.

Поднявшись, не отрывая взгляда от трупа, алькальд вытер руку в окровавленных перьях сначала о подпорку голубятни, а потом о пижамные штаны.

– Не трогайте, – сказал он.

– Оставьте тут валяться? – спросил один из мужчин.

– Необходимо по закону оформить опознание трупа, – ответил алькальд.

В доме причитали женщины. Сквозь плач и удушающие запахи, казалось, вытеснившие из дома воздух, алькальд устремился наружу. На пороге он столкнулся с падре.

– Убили! – взволнованно воскликнул тот.

– Как барана, – подтвердил алькальд.

Двери домов были открыты. Дождь прекратился, но просветов в свинцовом небе, нависшем над крышами, видно не было. Падре Анхель схватил алькальда за локоть.

– Вообще-то Сесар Монтеро – человек добрый, – сказал он. – В тот миг у него, наверно, помрачился рассудок.

– Знаю, – нетерпеливо отозвался алькальд. – Не беспокойтесь, падре, ему ничего не грозит. Входите, вы как раз здесь нужны.

Приказав полицейским, стоявшим у входа, покинуть пост, он круто повернулся и зашагал прочь. Толпа, до этого державшаяся поодаль, хлынула в дом. Алькальд вошел в бильярдную, где один из полицейских уже ждал его с лейтенантской формой.

Обыкновенно заведение в этот час еще не открывалось, но сегодня не пробило и семи, а оно уже было полно. Сидя за столиками или облокотившись на стойку, посетители пили кофе. Большинство были в пижамах и шлепанцах.

Алькальд разделся при всех, вытерся наскоро пижамными штанами и, прислушиваясь к разговорам, стал молча надевать форму. Покидая бильярдную, он уже знал все детали произошедшего.

– Глядите у меня! – крикнул он с порога. – Будете панику сеять – всех посажу!

Не отвечая на приветствия, он зашагал по вымощенной булыжником улице. Алькальд чувствовал, что городок взбудоражен. Он был молод, двигался легко, и каждый его шаг выдавал в нем человека, способного заставить себя уважать.

В семь часов прогудели, отчаливая, баркасы, прибывавшие по реке три раза в неделю за грузом и пассажирами, но сегодня люди не обратили на это никакого внимания. Алькальд прошел по торговому ряду, где сирийцы уже начинали раскладывать на прилавках свои яркие, пестрые товары. Доктор Октавио Хиральдо, врач неопределенного возраста с блестящими, словно лаком покрытыми, кудрями, смотрел из дверей своей приемной, как баркасы уплывают вниз по реке. Он тоже был в пижаме и шлепанцах.

– Доктор, – сказал алькальд, – оденьтесь, придется пойти сделать вскрытие.

Врач удивленно посмотрел на него и, показав два ряда прочных белых зубов, отозвался:

– Значит, теперь будем делать вскрытия? Прогресс.

Алькальд хотел улыбнуться, но распухший флюс тут же напомнил о себе. Он прижал ко рту руку.

– Что с вами? – спросил врач.

– Проклятый зуб.

Доктор Хиральдо явно был расположен поговорить, но алькальд торопился. У конца набережной он постучался в дверь дома с чистыми бамбуковыми стенами и кровлей из пальмовых листьев, край которой почти касался воды. Ему открыла женщина с зеленовато-бледной кожей, на последнем месяце беременности, босая. Алькальд молча отстранил ее и вошел в маленькую гостиную, где царил полумрак.

– Судья! – позвал он.

В проеме внутренней двери появился, шаркая деревянными подметками, судья Аркадио. Кроме хлопчатобумажных штанов, сползавших с живота, на нем ничего не было.

– Собирайтесь, надо оформить труп, – сказал алькальд.

Судья Аркадио удивленно присвистнул:

– С чего это вдруг?

Алькальд прошел за ним в спальню.

– Особый случай, – сказал он, открывая окно, чтобы проветрить комнату. – Лучше сделать все как положено.

Он отер испачканные пылью ладони о выглаженные брюки и без малейшей иронии спросил:

– Вы знаете, как оформляется вынос трупа?

– Конечно, – ответил судья.

Алькальд подошел к окну и оглядел свои руки.

– Вызовите секретаря, придется писать, – продолжал он все так же серьезно и, повернувшись к молодой женщине, показал руки. На ладонях были следы крови.

– Где можно вымыть?

– В фонтане, – сказала она.

Алькальд вышел в патио. Женщина достала из сундука чистое полотенце, завернула в него кусок туалетного мыла и собралась выйти вслед за алькальдом, но тот, отряхивая руки, уже вернулся.

– Ничего, и так сойдет, – ответил алькальд.

Он снова посмотрел на свои руки, взял у нее полотенце и вытер их, задумчиво поглядывая на судью Аркадио.

– Пастор был весь в голубиных перьях, – сказал он, а потом сел на постель и, медленно прихлебывая из чашки черный кофе, подождал, пока судья Аркадио оденется.

Женщина проводила их до выхода из гостиной.

– Пока не удалите этот зуб, опухоль у вас не спадет, – сказала она алькальду.

Тот, подталкивая судью Аркадио к выходу, обернулся и дотронулся пальцем до ее раздувшегося живота.

– А вот эта опухоль когда спадет?

– Уже скоро, – ответила она ему.

Вечером падре Анхель так и не вышел на привычную прогулку. После похорон он зашел побеседовать в один из домов в нижней части городка и допоздна задержался там. Во время продолжительных дождей у него, как правило, начинала болеть поясница, но на этот раз он чувствовал себя хорошо. Когда он подходил к своему дому, фонари на улицах уже зажглись.

Тринидад поливала в галерее цветы. Падре спросил у нее, где неосвященные облатки, и она сказала, что отнесла их в большой алтарь. Стоило зажечь свет, как его тут же окутало облачко moskitov. Падре оставил дверь открытой и, чихая от дыма, окурив комнату противомоскитным аэрозолем.

Когда он закончил, с него ручьями лил пот. Сменив черную сутану на златанную белую, которую носил дома, он пошел помолиться Деве Марии.

Вернувшись в комнату, он поставил на огонь сковороду, бросил на нее кусок мяса и стал мелко резать лук. Потом, когда мясо поджарилось, бросил все на тарелку, где лежали еще с обеда кусок вареной маниоки и немного риса, перенес тарелку на стол и сел ужинать.

Ел он все одновременно, отрезая маленькие кусочки и нагребая на них рис. Пережевывал тщательно, не спеша, с плотно закрытым ртом, размалывая все до последней крошки хорошо запломбированными зубами. Когда работал челюстями, клал вилку и нож на край тарелки и медленно обводил комнату пристальным, словно изучающим, взглядом. Прямо напротив стоял шкаф с объемистыми томами церковного архива, в углу – плетеная качалка с высокой спинкой и прикрепленной на уровне головы расшитой подушечкой. За качалкой – ширма, на которой висели распятие и календарь с рекламой эликсира от кашля.

За ширмой стояла его кровать.

К концу ужина падре Анхель почувствовал удушье. Он налил полную чашку воды, развернул мармеладку из гуайявы и, глядя на календарь, начал ее есть. Откусывал и запивал водой, не отрывая от календаря взгляда, наконец рыгнул и вытер рукавом губы. Уже девятнадцать

лет он ел так один в своей комнате, со скрупулезной точностью повторяя каждое движение. Одиночество никогда его не удручало.

Когда падре Анхель кончил молиться, Тринидад снова спросила у него денег на мышьяк. Падре отказал ей в третий раз и добавил, что можно обойтись мышеловками.

– Самые маленькие мышки утаскивают из мышеловок сыр и не попадают. Лучше сыр отравить, – возразила Тринидад.

Эти слова убедили падре, и он уже собирался ей об этом сказать, но тут тишину церкви нарушил громкоговоритель кинотеатра напротив. Сперва послышался хрип, потом звук иглы, царапающей пластинку, а вслед за этим пронзительно запела труба и началось мамбо.

– Сегодня будет картина? – спросил падре.

Тринидад кивнула.

– А какая, не знаешь?

– «Тарзан и зеленая богиня», – ответила Тринидад. – Та самая, которую в воскресенье не кончили из-за дождя. Ее можно смотреть всем.

Падре Анхель пошел в звонницу и, делая паузы между ударами, прозвонил в колокол двенадцать раз. Тринидад была изумлена.

– Вы ошиблись, падре! – воскликнула она, всплеснув руками, и по блеску глаз было видно, как велико ее изумление. – Эту картину можно смотреть всем! – Помните – в воскресенье вы не звонили.

– Но ведь сегодня это было бы бестактно, – сказал падре, вытирая потную шею.

И, отдуваясь, повторил:

– Бестактно.

Тринидад поняла.

– Надо было видеть эти похороны, – сказал падре. – Все мужчины рвались нести гроб.

Отпустив девушку, он затворил дверь, выходившую на безлюдную сейчас площадь, и погасил огни храма. Уже в галерее, на пути в свою комнату, падре хлопнул себя по лбу, вспомнив, что не дал Тринидад денег на мышьяк, но прошел всего несколько шагов и забыл об этом. Он сел за рабочий стол дописать начатое накануне письмо. Расстегнув до пояса сутану, придвинул к себе блокнот, чернильницу и промокательную бумагу; другая рука ощупывала карманы в поисках очков. Потом он вспомнил, что они остались в сутане, в которой он был на похоронах, и поднялся, чтобы их взять. Едва он перечитал написанное накануне и начал новый абзац, как в дверь три раза постучали.

– Войдите!

Это был владелец кинотеатра. Маленький, бледный, прилизанный, он всегда производил впечатление человека, смирившегося со своей судьбой. На нем был белый, без единого пятнышка полотняный костюм и двухцветные полуботинки. Падре Анхель жестом пригласил его сесть в плетеную качалку, но тот вынул из кармана носовой платок, аккуратно развернул его, обмахнул скамью и сел на нее, широко расставив ноги. И только тут падре понял: то, что он принимал за револьвер на поясе у владельца кино, на самом деле было карманным фонариком.

– К вашим услугам, – сказал падре Анхель.

– Падре, – придушенно проговорил тот, – простите, что вмешиваюсь в ваши дела, но сегодня вечером, должно быть, произошла ошибка.

Падре кивнул и приготовился слушать дальше.

– «Тарзана и зеленую богиню» можно смотреть всем, – продолжал владелец кино. – В воскресенье вы сами это признали.

Падре хотел прервать его, но владелец кино поднял руку, показывая, что он еще не кончил.

– Я не спорю, когда запрет оправдан, потому что действительно бывают фильмы аморальные. Но в этом фильме ничего такого нет. Мы даже думали показать его в субботу на детском сеансе.

– Правильно: в списке, который я получаю ежемесячно, никаких замечаний морального порядка нет, – сказал падре Анхель. – Однако показывать фильм сегодня, когда в городке только что похоронен убитый человек, было бы неуважением к его памяти. А ведь это тоже аморально.

Владелец кинотеатра уставился на него:

– В прошлом году полицейские убили в кино человека, и когда мертвеца вытащили, сеанс возобновился!

– А теперь будет по-иному, – сказал падре. – Алькальд стал другим.

– Подойдут новые выборы – опять начнутся убийства, – запальчиво возразил владелец кинотеатра. – Так уж повелось в этом городке с тех пор, как он существует.

– Увидим, – отозвался падре.

Владелец кинотеатра укоризненно посмотрел на священника, но, когда он, потряхивая рубашку, чтобы освежить грудь, заговорил снова, голос его звучал просительно:

– За год это третья картина, которую можно смотреть всем, – сказал он. – В воскресенье три части не удалось показать из-за дождя, и люди очень хотят узнать, какой конец.

– Колокол уже прозвонил, – сказал падре.

У владельца кинотеатра вырвался вздох отчаяния. Он замолчал, глядя в лицо священнику, уже не в состоянии думать ни о чем, кроме невыносимой духоты.

– Выходит, ничего нельзя сделать?

Падре Анхель едва заметно кивнул. Хлопнув ладонями по коленям, владелец кинотеатра встал.

– Что ж, – сказал он, – ничего не поделаешь.

Сложив платок и вытерев им потную шею, он обвел комнату суровым горьким взглядом.

– Прямо как в преисподней, – сказал он.

Священник проводил его до двери, закрыл ее на засов и сел заканчивать письмо. Он перечитал его с самого начала, дописал незаконченный абзац и задумался. Музыка, доносившаяся из громкоговорителей, внезапно оборвалась.

– К сведению уважаемой публики, – зазвучал из динамика бесстрастный голос. – В связи с тем что администрация кинотеатра желает вместе со всеми выразить свои соболезнования, сегодняшний вечерний сеанс отменяется.

Узнав голос владельца кинотеатра, падре Анхель улыбнулся. Становилось все жарче. Он продолжал писать, отрываясь лишь затем, чтобы вытереть пот и перечитать написанное, и исписал целых два листа. Он уже подписывался, когда хлынул дождь. Комнату наполнили испарения влажной земли. Падре Анхель надписал конверт, закрыл чернильницу и хотел сложить письмо вдвое, но остановился и перечитал последний абзац. После этого, снова открыв чернильницу, он добавил постскрипtum: «Опять дождь. Такая зима и события, о которых я вам рассказывал выше, наводят на мысль, что впереди нас ожидают горькие дни».

Рассвет в пятницу был тепел и сух. Судья Аркадио очень гордился тем, что с тех пор, как стал мужчиной, кончал с женщиной по три раза за ночь. Этим утром, в самый момент, оборвались шнурки москитной сетки, они с женой запутались в ней и рухнули на пол.

– Оставь, – пробормотала она, – поправлю потом.

Они вынырнули, голые, из клубящейся москитной ткани. Судья Аркадио направился к сундуку за чистыми трусами. Когда он вернулся, жена уже оделась и прилаживала москитную сетку. Не взглянув на нее, он прошел мимо и, все еще часто дыша, принялся обуваться. Она

подошла, прижалась к его плечу круглым тугим животом и слегка зажала зубами его ухо. Мягко отстранившись, он сказал:

– Не трогай.

Она ответила удовлетворенным смехом и, последовав за ним, ткнула у самой двери указательными пальцами в спину:

– Н-но, ослик!

Подскочив, судья Аркадио резко отвел ее руки. Со смехом она оставила его в покое и вдруг вскрикнула:

– Боже!

– Что случилось?

– Дверь настежь! Какой стыд!

И она с хохотом поспешила в душ.

Судья Аркадио не дождался кофе и, ощущая во рту прохладу от мятного привкуса зубной пасты, вышел на улицу.

Солнце плавилось как медь. Сирийцы сидели у дверей своих лавочек и наблюдали мирное течение реки. Поравнявшись с приемной доктора Хиральдо, судья провел ногтем по металлической сетке двери и крикнул:

– Доктор, какое лучшее средство от головной боли?

Раздался голос врача:

– Не напиваться вечером.

На пристани женщины бурно обсуждали новую анонимку, вывешенную ночью. Утро было ясным, без дождя, и женщинам, идущим к пятичасовой мессе, не составило труда прочесть новый пасквиль, теперь о нем знали все. Судья Аркадио не остановился, его будто кто-то, как быка за кольцо в носу, потянул к бильярдной. Там он попросил холодного пива и таблетку от головной боли. Только что пробило девять, но в заведении было уже полно народа.

– У целого городка с утра головная боль, – изрек судья Аркадио.

С бутылкой пошел к столику, где с растерянным видом сидели над пивными бокалами трое мужчин, и опустился на свободное место.

– Опять? – спросил он.

– Утром нашли еще четыре.

– Все прочитали про Ракель Контрерас.

Судья Аркадио разжевал таблетку и глотнул прямо из бутылки. От первого глотка он чуть было не блеванул, но потом желудок ожил, и вскоре судья почувствовал себя воскресшим.

– Что же в анонимке?

– Да фигня, – ответил мужчина. – Будто ездила она в этом году не зубы делать, а аборт.

– Об этом и так все ляссы точат! – хмыкнул судья Аркадио. – Стоило вывешивать листки.

Он вышел из бильярдной, от обжигающего солнца выступили слезы на глазах, но утренняя тяжесть прошла.

Он направился прямо в суд. Его секретарь, жилистый старик, ощипывал курицу. Он изумленно уставился на судью поверх очков:

– Каким ветром?!

– Надо решать вопрос с анонимками.

Шаркая в домашних туфлях, секретарь вышел в патио и через забор передал недоошипанную курицу гостиничной кухарке.

Со дня вступления в должность, одиннадцать месяцев назад, судья Аркадио впервые сел за судейский стол. Деревянный барьер делил убогое пространство комнаты на две части. В передней части, под картиной, изображавшей богиню правосудия с завязанными глазами и весами в руке, находилась длинная скамья. Во второй половине стояли напротив друг друга два старых письменных стола, этажерка с пыльными книгами и на маленьком столике – пишу-

щая машинка. На стене, над креслом судьи, висело медное распятие, а на противоположной стене заключенная в рамку литография – толстый лысый улыбающийся человек с президентской лентой через плечо, и под ним надпись золотыми буквами: «Мир и Справедливость». Литография здесь была единственным новым предметом.

Укутав лицо чуть не до самых глаз носовым платком, секретарь перьевой метелкой принялся стряхивать пыль со стола.

– Если не зажмете нос, будете чихать, – предупредил он судью Аркадио.

Предостережение осталось без внимания. Судья Аркадио вытянул ноги и откинулся во вращающемся кресле, пробуя пружины сиденья.

– Не рухнет? – спросил он.

Секретарь успокаивающе покачал головой.

– После того как подстрелили судью Вителу, вылезли пружины, но теперь по личному приказу алькальда все починили.

И, дыша через платок, добавил:

– Приказал отремонтировать, после того как правительство сменилось и повсюду начали разъезжать осведомители.

– Лейтенант настоятельно просил, чтобы суд работал, – отозвался судья.

Он выдвинул средний ящик, достал из него связку ключей и один за другим принялся открывать остальные ящики стола. Бегло просмотрел бумаги и, убедившись, что нет ничего достойного его внимания, задвинул все ящики. Привел в порядок письменный прибор – две хрустальные чернильницы для синих и красных чернил и две ручки такого же цвета. Чернила давно высохли.

– Алькальду вы пришлось по нраву, – сказал секретарь.

Судья угрюмо покачивался в кресле, наблюдая, как он смахивает пыль с обивки барьера. Секретарь взглянул на судью пристально, будто старался навсегда запомнить его именно таким, именно при этом освещении, и, указывая на него пальцем, сказал:

– Вот так же, один к одному, сидел судья Витела, когда его шлепнули.

Судья прикоснулся к жилкам на висках. Возвращалась головная боль.

– А я сидел там. – Секретарь вышел из-за перегородки, указывая на пишущую машинку.

Тут он прицелился пером ручки, словно винтовкой, в судью Аркадио, подражая грабителям почтовых поездов из какого-нибудь вестерна.

– Вошли трое наших полицейских, стали вот так, – изобразил он. – А судья Витела, только увидел их, сразу поднял руки и медленно так сказал: «Не убивайте меня» – а они бах-бах! Кресло – в одну сторону, он – в другую. Короче, прошили свинцом насквозь.

Судья Аркадио сжал голову. Ему показалось, что мозг пульсирует под пальцами. Секретарь повесил метелку за дверь и наконец освободил лицо от платка.

– А все почему? Ляпнул по пьянке, что он, мол, гарантирует чистоту выборов, – подвел черту секретарь.

Он недоуменно замолчал, глядя на скукожившегося над письменным столом судью Аркадио, с головой, зажатой ладонями.

– Очень вам хреново?

Судья ответил утвердительно и рассказал о прошедшей ночи, затем попросил секретаря принести из бильярдной обезболивающее и две бутылки холодного пива.

После первой бутылки в душе у судьи Аркадио исчез и намек на угрызения совести. Мысли прояснились, будто вымытое зеркало.

Секретарь уселся за машинку.

– Ну а теперь чем займемся? – спросил он.

– Ничем, – ответил судья.

– Ну тогда, с вашего разрешения, пойду помогу Марии ошипывать кур.

Судья отказал.

– Здесь правосудие вершат, а не кур ощипывают, – сказал он и, снисходительно оглядев подчиненного, добавил: – Кстати, вам следует являться в суд в ботинках, а не в домашних туфлях.

К полудню жара усилилась. Пробило двенадцать, судья Аркадио осушил уже дюжину пива и погрузился в бездну воспоминаний. Мечтательно и сладострастно рассказывал он о беззаботных воскресеньях на берегу моря и ненасытных мулатках, отдающихся прямо у порога двери гостиной.

– Вот такая жизнь была! – приговаривал он, прищелкивая пальцами прямо перед носом онемевшего секретаря, который только кивал время от времени. Воспоминания воодушевили судью Аркадио, усталость как рукой сняло.

На башне пробило час, секретарю стало невтерпеж, он попытался прервать судью.

– Суп стынет, – взволновался он.

Судья не позволил ему идти.

– В нашем забытом богом городишке не всякому повезет встретить по-настоящему интеллигентного человека вроде меня, – сказал он.

Секретарю, изнемогшему от духоты, осталось только поблагодарить его и поменять позу в кресле. Казалось, пятница не кончится. Под раскалившейся от зноя крышей суда они беседовали еще с полчаса, а в это время городишко кипел в котле сиесты.

Уже в полуобмороке секретарь намекнул на анонимки. Судья Аркадио недоуменно поднял плечи.

– И ты, значит, клюнул на этот идиотизм? – спросил он, впервые обращаясь к секретарю на ты.

У того, обессилевшего от жары и жажды, не было желания тянуть жвачку разговора; однако он не считал анонимные листки просто идиотизмом.

– Один труп по крайней мере уже есть, – напомнил он. – Если так пойдут дела, наступят совсем поганые времена.

И поведал историю о том, как некий городок буквально самоуничтожился от таких листов всего за неделю. Жители поубивали друг друга, а немногие из оставшихся в живых вырыли кости своих предков, чтобы перезахоронить в других местах, подальше от проклятого места.

Расстегивая рубашку, судья выслушал его рассказ с ехидной усмешкой и подумал, что секретарь увлекается чернухой.

– Эти рассказы прямо из заурядного детектива, – сказал он.

Секретарь несогласно мотнул головой. Тогда судья Аркадио поведал о студенческой организации, в которой он состоял в университете, члены которой разгадывали криминальные загадки. Каждый из них по очереди читал какой-нибудь детектив до места, близкого к развязке, и потом, собравшись вместе в субботу, они пытались угадать концовку.

– Я ни разу не промахнулся, – закончил судья Аркадио. – Помогало мне знание классиков: ведь это они открыли логику жизни, а она – код любой тайны.

И судья предложил секретарю следующую криминальную задачу: вечером в гостинице снимает номер постоялец, а на следующее утро горничная приносит ему кофе и видит на постели его разложившийся труп. Вскрытие показывает, что прибывший прошлым вечером восемь дней как мертв. Секретарь привстал, щелкнув суставами.

– Хотите сказать, что человек прибыл в гостиницу, будучи уже восемь дней мертвым? – подытожил он.

– Эта история была написана двенадцать лет назад, – сказал судья Аркадио, не обращая внимания на секретаря, – но код к разгадке дал Гераклит еще за пять веков до новой эры.

И только было он хотел открыть тайну, но в этот момент секретарь уже не смог сдержать раздражение.

– Сколько себя помню, никому еще не удавалось докопаться до тайны анонимных листов, – заявил он с вызовом.

Судья Аркадио взглянул на него исподлобья.

– Спорим, что я докопаюсь? – сказал он.

– По рукам.

В доме напротив страдала от духоты в своей спальне Ребекка Асис: уткнув голову в подушку, она пыталась заснуть хотя бы на время невыносимой сиесты. К ее вискам были приклеены охлаждающие ароматные листья.

– Роберто, – обратилась она к мужу, – открой окно, иначе мы умрем от духоты.

Роберто Асис распахнул окно именно в тот миг, когда судья Аркадио выходил из суда.

– Попытайся уснуть, – просительно обратился Роберто Асис к роскошной женщине, которая лежала, раскинув руки, почти голая в легкой нейлоновой рубашке, под розовым кружевным балдахином. – Клянусь, ни о чем больше не напомним.

Она вздохнула.

Ночью Роберто Асис мучился бессонницей. Он мерил шагами спальню, прикуривая одну сигарету от другой, и чуть было не схватил за руку на рассвете автора гнусных листов. Он услышал, как около дома зашелестели бумагой, явно клея ее на стену, но сообразил слишком поздно. Когда он раскрыл окно, на площади уже никого не было.

С того момента до двух часов дня, когда он обещал Ребекке, что больше не вспомнит о сплетне из листка, она пускала в ход все известные ей способы убеждения и под конец предложила мужу отчаянный шаг: в его присутствии исповедаться перед падре Анхелем, дабы доказать свою невиновность. Это унижительное действие себя оправдало: несмотря на затмевавший рассудок слепой гнев, Роберто Асис не посмел сделать последний шаг и вынужден был сдаться.

– Гораздо лучше высказать все в глаза, чем держать нож за пазухой, – не открывая глаз, сказала она. – Было бы ужасно, если бы ты держал обиду в себе.

Роберто вышел из спальни и плотно закрыл за собою дверь. В просторном полумраке он уловил нудный звук электровентилятора из спальни своей матери.

Чернокожая кухарка наблюдала осоловевшим взглядом, как он наливал в стакан лимонад из бутылки, стоявшей в холодильнике. Она спросила из своего обдуваемого сквозняком убежища, не хочет ли он обедать. Он приподнял крышку кастрюли: в кипящей воде лапами вверх плавала черепаха. Впервые его не ужаснула мысль, что черепаху бросают в кипяток живой, а сердце ее продолжает биться даже в тарелке, когда суп подают на стол.

– Обедать не хочу, – сказал он, закрывая кастрюлю. И, уже выходя, добавил: – Сеньора тоже не будет есть – у нее головная боль.

Дом Роберто соединялся с домом матери выложенной зелеными плитками галереей, из которой обозревались общее патио и огороженный проволокой курятник. В той половине галереи, которая была ближе к дому матери, в глиняных ящиках сияли пышные цветы, а к карнизу были подвешены птичьи клетки.

Он услышал жалобный оклик семилетней дочери, прикорнувшей в шезлонге. На ее щеке отпечатался рисунок холщовой простыни...

– Скоро три, – тихо сказал он. И добавил меланхолично: – Пора просыпаться.

– Я видела во сне стеклянного кота, – сказала девочка.

Его вдруг охватил озноб, с которым он никак не мог справиться.

– Какого?

– Он был весь из стекла, – ответила дочь, стараясь нарисовать в воздухе кота. – Как стеклянная птица, но только кот.

Был день, и ярко светило солнце, но ему примстилось, будто он заблудился в незнакомом городе. «Не думать, не вспоминать ни о чем», – приказал он себе...

В проеме двери он увидел мать и почувствовал, что пришло спасение.

– Ты выглядишь гораздо лучше, – сказал он ей.

– Лучше для чего? Для свалки, – ответила она с горькой усмешкой, собирая в узел пышные волосы цвета стали.

В галерее она принялась менять воду в клетках. Роберто Асис повалился в шезлонг, где прежде дремала его дочь. Он отвел руки за голову и наблюдал померкшим взглядом, как костлявая женщина в черном вполголоса разговаривает с птицами. Птицы, весело барахтаясь в свежей воде, осыпали брызгами ее лицо. Когда она все завершила и повернулась к нему, Роберто почувствовал, что снова проваливается в сомнения.

– Ты в горах работал в эти дни?..

– Не поехал, были дела.

– Теперь останешься до понедельника?..

Он согласно прикрыл глаза. Босая чернокожая служанка провела через гостиную девочку – они направлялись в школу.

Вдова Асис проводила их взглядом и, снова повернувшись к сыну, сделала ему знак, чтобы он проследовал за ней в спальню, где гудел вентилятор. В крайней усталости она рухнула в расшатанную, плетенную из лиан качалку. На белых известковых стенах были развешаны фотографии в медных резных рамках, фотографии давно повзрослевших детей. Роберто Асис вытянулся на царственно пышной кровати, где встретили кончину некоторые из тех детей с фотографий, а в декабре прошлого года – их отец.

– Что произошло? – озабоченно спросила вдова.

– Ты доверяешь всем слухам?

– В моем возрасте всему поверишь, – парировала мать. И вяло спросила: – Так о чем же говорят?

– Что Ребекка Исабель не моя дочь.

– У нее Асисов нос, – сказала она.

И потом, задумавшись, рассеянно спросила:

– Кто говорит это?

Роберто Асис нервно грыз ногти.

– Наклеили очередной листок.

Теперь вдова сообразила, откуда темные круги под глазами сына: отнюдь не от бессонницы.

– Анонимки не живые люди, – наставительно сказала она.

– Но пишется там только то, о чем говорят все, – возразил Роберто, – даже если сам человек об этом не догадывается.

Однако вдова знала все слухи, касающиеся ее семьи. В их доме всегда полно людей: служанки, приемные дочери, приживалки всех возрастов, от слухов было невозможно спрятаться даже в спальне. Неугомонные Асисы, основатели городка, еще в те времена, когда были всего лишь свинопасами, как магнит притягивали к себе сплетни.

– Далеко не все, что говорят люди – правда, – сказала она, – хотя, конечно, многие верят.

– Все знают, что Росарио Монтеро спала с Пастором, – сказал он. – Свою последнюю песню он посвятил ей.

– Сплетни такие ходили, но точно не знал никто, – возразила вдова. – А теперь стало известно, что песня была посвящена Марго Рамирес. Они собирались пожениться, об этом знали только жених с невестой да его мать. Лучше бы эта тайна – единственная, которую в нашем городишке удалось сохранить, вышла наружу...

Роберто Асис посмотрел на мать трагическим взглядом, натужно улыбаясь.

– Утром мне казалось, что я умираю.

Но вдова отозвалась нехотя, без эмоций.

– Все Асисы ревнивы. Это проклятие нашего дома.

Они замолчали. Время близилось к четырем, жара спадала. Роберто выключил вентилятор, весь дом уже проснулся и наполнился женскими голосами и птичьим щебетом, напоминавшим звуки флейты.

– Подай мне пузырек с ночного столика, – попросила мать.

Она достала из него две круглые сероватые таблетки, похожие на искусственные жемчужины, и вернула флакон сыну.

– Прими и ты, – сказала она, – они помогут тебе уснуть.

Он запил две таблетки водой из материнского стакана и снова опустил голову на подушку.

Вдова молча вздохнула, задумалась и подытожила, имея в виду, конечно, не весь городок, лишь некоторые семьи своего круга:

– Ужас нашего городка в том, что мужчины отправляются в горы, а женщины предоставлены самим себе.

Роберто Асис засыпал. Вдова смотрела на заросший щетиной подбородок, на удлинённый нос с хрящеватыми крыльями и вспомнила покойного мужа. Адальберто Асис тоже был подвержен приступам отчаяния. Он был исполин, горец, который лишь один раз в жизни надел на пятнадцать минут целлулоидный воротничок, чтобы позировать для дагерротипа, пережившего его и стоявшего теперь на ночном столике. О нем говорили, что в этой же самой спальне он застал со своей женой мужчину, убил его и зарыл труп у себя в патио. На самом деле было совсем другое: Адальберто Асис застрелил из ружья обезьянку-самца, которая сидела на балке под потолком спальни и задумчиво теребила свой уд, взирая, как переодевается его жена. Сорока годами позже он скончался, так и не сумев опровергнуть сложенный о нем миф.

По крутым ступеням казармы поднялся падре Анхель. На втором этаже, в глубине коридора, увешанного винтовками и патронташами, лежал на походной раскладушке полицейский и читал. Он настолько увлекся чтением, что заметил падре только после того, как тот с ним поздоровался. Полицейский свернул журнал в трубку, приподнялся и сел.

– Что читаете? – поинтересовался падре Анхель.

Полицейский показал ему заглавие:

– «Терри и пираты».

Падре внимательно осмотрел три бетонированные камеры без окон с толстыми стальными решетками вместо дверей. В средней камере спал в одних трусах, раскинув ноги в гамаке, второй полицейский; две другие камеры пустовали. Падре Анхель поинтересовался, где Сесар Монтеро.

– Там, – полицейский кивнул в сторону закрытой двери, – в кабинете начальника.

– Я могу с ним побеседовать?

– Он изолирован, – сказал полицейский.

Падре Анхель не спорил, а спросил только об условиях содержания заключенного.

Полицейский ответил, что Сесару Монтеро отвели лучшую комнату казармы, с хорошим освещением и водопроводом, но уже сутки, как он отказывается от пищи. Алькальд заказал для него еду в гостинице.

– Боится, что в ней отравы, – объяснил полицейский.

– Вам бы следовало договориться, чтобы ему приносили еду из дому, – посоветовал падре.

– Изолированный не хочет беспокоить свою жену.

Словно обращаясь к самому себе, падре промолвил:

– Надо об этом поговорить с алькальдом, – и направился в глубину коридора, где помещался кабинет с бронированными по приказу алькальда стенами и дверью.

– Его нет, – сказал полицейский. – Уже два дня сидит дома, у него зубы болят.

Священник отправился навестить больного. Алькальд лежал, вытянувшись, в гамаке; рядом стоял стул, на котором были кувшин с соленой водой, пакетик анальгетиков и пояс с патронташами и револьвером. Флюс не опадал.

Падре Анхель подтащил стул поближе к гамаку.

– Ясно, что его надо вырвать, – сказал он.

Лейтенант смачно сплюнул соленую воду в ночной горшок.

– Сказать-то легко, – простонал он, все еще держа голову над горшком.

Падре Анхель понял его и негромко предложил:

– Хотите, поговорю от вашего имени со стоматологом?

А потом вдохнул побольше воздуха и добавил:

– Он человек разумный, поймет.

– Как же! – огрызнулся алькальд. – Разумный, как осел, ему хоть кол на голове теши, останется при своем мнении.

Священник наблюдал, как он идет к умывальнику. Алькальд открыл кран, поставил флюс под струю прохладной воды и с выражением блаженства на лице продержал его так одну или две секунды, а потом разжевал таблетку анальгетика и, набрав в ладони воды из-под крана, запил ее.

– Серьезно, – снова предложил падре, – я могу с ним поговорить.

Алькальд раздраженно передернул плечами:

– Делайте что хотите, падре.

Он улегся на спину в гамак, заложил руки за голову и, закрыв глаза, часто и зло задышал. Боль стала утихать. Когда он снова открыл глаза, падре Анхель сидел рядом и тихо взирал на лейтенанта.

– Что привело вас в сию обитель? – спросил наконец алькальд.

– Сесар Монтеро, – без обиняков сказал падре. – Ему необходимо исповедаться.

– Он под арестом, – сказал алькальд. – Но завтра, после первого же допроса, можете его исповедать. В понедельник нужно его отправлять.

– Он уже сорок восемь часов... – начал падре.

– А я мучаюсь с этим зубом две недели, – оборвал его алькальд.

В комнате начинали жужжать москиты, становилось темно. Падре Анхель посмотрел в окно и увидел ярко-розовое облако над рекой.

– А как его кормят?

Алькальд прыгнул с гамака и закрыл балконную дверь.

– Я свой долг исполнил, – ответил он. – Сесар Монтеро не хочет беспокоить жену, а пищу из гостиницы не ест.

Он стал опрыскивать комнату аэрозолем от москитов. Падре искал в кармане платок, чтобы прикрыть нос, но вместо платка нащупал смятое письмо.

– Ах! – воскликнул он и начал разглаживать его ладонью.

Алькальд остановил опрыскивание. Падре зажал нос, но это не помогло: он чихнул два раза.

– Чихайте, падре, на здоровье, – сказал ему алькальд. И, улыбнувшись, добавил: – У нас демократия.

Падре Анхель тоже улыбнулся, а потом сказал, показывая запечатанный конверт:

– Забыл отправить на почте.

Платок он обнаружил в рукаве и, по-прежнему думая о Сесаре Монтеро, высморкался.

– Получается, он у вас на хлебе и воде, – сказал он.

– Если это ему нравится... – отозвался алькальд. – Не будем же мы кормить его насильно.

– Больше всего меня заботит его совесть, – сказал падре.

Не отнимая платка от носа, он наблюдал за алькальдом, пока тот не закончил опрыскивание.

– Похоже, совесть у него нечиста, коль боится, что его отравят, – сказал алькальд, поставил аэрозоль на пол и добавил: – Пастора любили все.

– Сесара Монтеро тоже, – сказал падре.

– Но Пастор все-таки мертв.

Падре посмотрел на письмо. Небо багровело.

– Перед смертью Пастор, – прошептал он, – не успел даже исповедаться.

Перед тем как снова лечь в гамак, алькальд включил свет.

– Думаю, завтра мне полегчает, – сказал он. – После допроса можете его исповедать. Это вас устраивает?

Падре Анхель согласился.

– Исповедь необходима для успокоения его совести, – заверил он.

Царственно поднявшись, он посоветовал алькальду не злоупотреблять болеутоляющими, а алькальд со своей стороны напомнил падре о письме, которое тот хотел отправить.

– И, падре, – сказал алькальд, – поговорите, пожалуй, с зубодером.

Он посмотрел на священника, уже спускавшегося по лестнице, и, улыбнувшись, добавил:

– Главное, ради установления мира и спокойствия.

Телеграфист, сидя у дверей своей конторы, созерцал умирающий закат. Когда падре Анхель отдал ему письмо, он вошел в помещение, послунывил языком пятнадцатисентовую марку (авиапочта плюс сбор на строительство) и начал рыться в ящике письменного стола. Когда зажглись уличные фонари, падре положил на деревянный барьер несколько монеток и не попрощавшись вышел.

Телеграфист продолжал рыться в ящике. Через минуту ему это надоело, и он написал чернилами в углу конверта: «Марок по пять сентавов нет», а ниже поставил свою подпись и штамп почтового отделения.

После вечернего молебна падре Анхель увидел, что в чаше со святой водой плавают мертвый мышонок: Тринидад ставила мышеловки на самом краю купели. Падре схватил утопленника за хвост.

– Если произойдет несчастье, то повинна в нем будешь ты, – сказал он Тринидад, раскачивая мертвого мышонка перед ней. – Разве ты не знаешь, что верующие поят святой водой больных родственников, детей?

– Ну и к чему вы это мне говорите? – спросила она.

– Как к чему? – возмутился падре. – Да к тому, что больные будут пить святую воду с мышьяком! Это как пить дать.

Тринидад напомнила падре, что денег на мышьяк он ей еще не давал.

– А этот издох от гипса, – показала она на мышонка.

И объяснила, что насыпала по углам церкви гипса; мышь поела его и, мучимая невыносимой жаждой, пошла пить. От воды гипс разбух и затвердел у нее в желудке.

– Что уж ни говори, – сказал падре, – а лучше зайди ко мне и возьми денег на мышьяк. Я не хочу больше находить в святой воде мышьиные трупы.

Дома его встретила депутация дам-католичек, возглавляемая Ребеккой Асис. Падре дал Тринидад денег на мышьяк, извинился, что в комнате очень душно, а потом сел за свой рабочий стол, лицом к хранившим молчание дамам.

– К вашим услугам, уважаемые сеньоры.

Дамы переглянулись. Ребекка Асис раскрыла веер с нарисованным на нем японским пейзажем и без церемоний сказала:

– Мы по поводу пасквилей, падре.

Чересчур интонированным голосом, будто рассказывая детскую сказку, она описала царившую в городке панику. Ребекка Асис заявила, что смерть Пастора следует рассматривать как «дело сугубо частное», но уважаемые семейства городка считают, что нельзя игнорировать клеветнические листки.

Опираясь на ручку зонтика, Адальгиса Монтойя, самая старшая из трех, высказалась еще ясней:

– Мы, общество католичек, решили в этом вопросе взять дело в свои руки.

Священник задумался. Ребекка Асис глубоко вздохнула, и падре спросил себя, почему от этой женщины исходит такой знойный, жаркий запах. С ослепительно белой кожей, она была великолепна в своем расцвете.

Падре заговорил, глядя в пространство:

– Мое мнение, что мы не должны обращать внимания на глас, сеющий смуту. Мы должны быть выше грязных сплетен и следовать только Нагорной проповеди.

Адальгиса Монтойя выразила одобрение, две другие дамы не согласились – они считают, «что постигшее городок зло может в конце концов кончиться трагедией».

В этот момент кашлянул громкоговоритель кинотеатра. Падре Анхель хлопнул себя по лбу.

– Прошу прощения, – сказал он и начал искать в ящике стола присланный список католической цензуры.

– Какая там нынче картина?

– «Пираты космоса», – ответила Ребекка Асис. – Там о войне.

Священник принялся искать по алфавиту, бормоча себе под нос обрывки названий и водя пальцем по длинному разграфленному списку. Перевернув страницу, прочитал:

– «Пираты космоса»!

Пальцем он отыскивал моральную классификацию фильма, и тут вместо ожидаемой пластинки раздался голос владельца кинотеатра, объявивший, что ввиду плохой погоды сеанс отменяется. Одна из женщин объяснила: владелец кинотеатра решил отменить сеанс – зрители требовали, чтобы в случае если до перерыва идет дождь, им вернули деньги за билеты.

– Очень жаль, – сказал падре Анхель, – как раз эту картину допускается смотреть всем. Он бережно закрыл брошюру и продолжал:

– Много раз я говорил публично: жители нашего городка – люди набожные. Девятнадцать лет назад, когда мне вверили этот приход, одиннадцать пар из самых почтенных семейств открыто сожительствовали вне освященного церковью брака. Сейчас осталась одна пара, и то, я надеюсь, вне церкви она будет сожительствовать недолго.

– Если бы дело было только в нас, – сказала Ребекка Асис, – а то ведь эти простолюдины...

– Оснований для беспокойства нет, – продолжал падре, не обращая внимания на реплику. – Только подумайте, как изменился наш городок! В ту давнюю пору заезжая русская танцовщица устроила на арене для петушиных боев представление для мужчин, а под конец – распродажу с аукциона всего, что на ней было, до нижнего белья, до трусов.

– Это чистейшая правда, – вставила Адальгиса Монтойя.

Рассказы об этом скандальном происшествии передавались из уст в уста. Когда на танцовщице ничего не осталось, похотливый старикашка из задних рядов с криком поднялся на верхнюю ступеньку амфитеатра и пустил струю мочи на зрителей, и все остальные мужчины, следуя его примеру, тоже начали с безумными воплями, визгами и рычанием писать друг на друга.

– Ныне, – продолжал падре, – доказано, что жители нашего городка – самые богобоязненные люди во всей апостолической префектуре.

Пастор увлекся проповедью, оседлал любимого конька. Стал приводить примеры своей трудной борьбы со слабостями и пороками рода людского, и в конце концов дамы-католички,

изнемогшие от жары, совсем перестали его слушать. Ребекка Асис снова развернула веер, и только теперь падре Анхель обнаружил источник ее сногсшибательного благоухания. В сонном оцепенении гостинной запах сандалового дерева обрел вес и плоть. Падре достал из рукава платок и прикрыл им нос, боясь чихнуть.

– И в то же время, – продолжал он, – наш храм в апостолической префектуре самый запущенный и бедный. Колокола треснули, и церковь полна мышей, потому что всю свою жизнь я посвящаю насаждению морали и добрых нравов.

Он расстегнул воротник.

– Заботы материальные по силам любому юноше, – сказал он, поднимаясь со своего места. – Но для духовного совершенствования, для утверждения нравственности нужны многолетний опыт и неустанные труды.

Ребекка Асис подняла холеную, почти прозрачную руку; обручальное кольцо закрывал перстень с изумрудами.

– Именно поэтому мы и подумали, – заговорила она, – что эти грязные пасквили могут свести на нет ваши молитвенные усилия.

Единственная из трех дам, пребывавшая до этого в молчании, воспользовалась наступившей паузой, чтобы тоже вставить несколько слов.

– Кроме того, мы, женщины-католички, считаем, – сказала она, – что сейчас, когда страна оправляется от потрясений, это постигшее нас зло может оказаться тормозом на пути прогресса.

Падре Анхель отыскал в шкафу веер и принялся церемонно им обмахиваться.

– Не следует путать Божий дар с яичницей, – сказал он. – Мы пережили политический кризис, но семейные устои остались незыблемы.

Он горделиво остановился перед женщинами.

– Через несколько лет я поеду к апостолическому префекту и скажу ему: «Смотрите: я оставляю вам образцовый городок. Теперь вам нужно только послать туда энергичного молодого священника – такого, который построил бы там лучшую в префектуре церковь». – И, чуть заметно поклонившись, воскликнул: – Тогда я смогу спокойно отойти в лучший мир в доме моих предков!

Дамы запротестовали. Общее мнение выразила Адальхиса Монтойя:

– Вы должны считать наш городок своей родиной, падре. И мы хотим, чтобы вы оставались с нами до вашего последнего часа.

– Если речь идет о строительстве новой церкви, – перебила ее Ребекка Асис, – мы можем начать сбор средств хоть завтра.

– Всему свой час, – сказал падре.

И добавил совсем другим тоном:

– Видит Бог, я не хотел бы состариться на глазах у прихода. Молюсь, чтобы со мною не произошло то, что случилось со смиренным Антонио Исабелем, настоятелем церкви Святого причастия и алтаря Кастанеды и Монтеро. Он сообщил епископу, что в его приходе идет дождь из мертвых птиц. Ревизор, посланный епископом, обнаружил священника на площади городка – он играл с детьми в полицейских и воров.

Правоверные католички пришли в изумление.

– О ком вы ведете речь?

– О святом отце, занявшем мое место в Макондо, – ответил падре Анхель. – Ему было сто лет.

Свирепость сезона ливней можно было ожидать уже, судя по последним дням сентября, а к концу этой недели он показал себя во всей беспощадности. Все воскресенье алькальд провел

в гамаке, горстями принимая обезболивающее, а в это время река вышла из берегов и заливала нижние улицы.

Ранним утром в понедельник впервые ненадолго перестал лить дождь, городку потребовалось несколько часов, чтобы очнуться и поверить в это. Лишь бильярдная и парикмахерская открылись рано, а большинство домов было закрыто аж до одиннадцати. Сеньора Кармайкла ошеломило зрелище этого утра – возбужденные толпы простолюдинов выдергивали из грунта угловые столбы и переносили свои лачуги целиком – прямо с пальмовыми крышами и стенами из бамбука и глины повыше, дальше от реки.

С раскрытым над головой зонтом сеньор Кармайкл наблюдал из-под навеса парикмахерской за этой нелегкой эвакуацией, как вдруг голос парикмахера прервал его созерцание.

– Подождали бы, пока перестанет лить совсем.

– В ближайшие два дня не перестанет, – сказал сеньор Кармайкл и закрыл зонтик, – мои больные суставы никогда меня не обманывают.

Люди, которые по колено в грязи тащили дома на спинах, ненароком задевали стены парикмахерской. Сеньор Кармайкл увидел через окно одной из лачуг голую изуродованную комнату, спальню, зияющую срамными подробностями, – и его охватило предчувствие надвигающейся беды.

Ему казалось, что сейчас часов шесть утра, но желудок свидетельствовал о том, что скоро двенадцать. Сириец Мойсес пригласил переждать очередной дождь у него в лавке. Сеньор Кармайкл повторил свои предсказания о дожде и заколебался, перепрыгнуть ли ему на тротуар к соседнему дому. Мальчишки, игравшие в войну, бросили ком глины, и он расплющился на стене недалеко от его свежевывглаженных брюк. Сириец Элиас выскочил из своей лавки с метлой в руках и, мешая арабские слова с испанскими, осыпал мальчишек нецензурной бранью. Мальчишки радостно запрыгали и закричали:

– Лупоглазый турок обожрался булок!

Удостоверившись в безупречной чистоте своего наряда, сеньор Кармайкл закрыл зонтик, вошел в парикмахерскую и уселся в кресло.

– Я всегда говорил, что вы человек умный, – сказал парикмахер, завязывая ему на шее простыню.

Сеньор Кармайкл вдохнул запах лавандовой воды, такой же неприятный для него, как запах анестезии в зубном кабинете. Парикмахер принялся подравнивать волосы на затылке. Сеньор Кармайкл тут же заскучал и поискал взглядом, что бы почитать.

– Газет нет?

Не прерывая работы, парикмахер ответил:

– В стране остались только правительственные газеты, а их, пока я жив, в моем салоне не будет.

Сеньору Кармайклу пришлось заняться созерцанием своих потрескавшихся туфель, но тут парикмахер спросил его о вдове Монтель – сеньор Кармайкл шел как раз от нее. После смерти дона Хосе Монтеля, у которого он служил много лет бухгалтером, сеньор Кармайкл стал управляющим у его вдовы.

– Все благополучно, – ответил он.

– Одни убиваются за клочок земли, – сказал парикмахер, словно разговаривая сам с собой, – а у нее одной столько земли, что за пять дней на лошади не объедешь. Хозяйка десяти округов, не меньше.

– Не десяти, а трех, – поправил его сеньор Кармайкл. И убежденно сказал: – Она самая достойная женщина в мире.

Парикмахер перешел к туалетному столику, чтобы промыть расческу. Сеньор Кармайкл увидел в зеркале его козлиное лицо и лишний раз убедился, что не уважает парикмахера. Тот рассматривал свое отражение в зеркале и продолжал:

– Обстрипано лихо: у власти моя партия, ее политическим противникам полиция угрожает расправой, и им некуда деться – продают мне землю и скот по бросовым ценам, которые я же и назначаю.

Сеньор Кармайкл опустил голову. Парикмахер продолжал его стричь.

– Проходят выборы, – говорил он, – и я уже хозяин трех округов, и у меня нет ни одного конкурента – я на коне, хоть правительство и сменилось. Выгодней, чем печатать фальшивые деньги.

– Хосе Монтель разбогател задолго до того, как началась политическая грызня, – отозвался сеньор Кармайкл.

– Ну да, сидя в одних трусах у дверей рисового хранилища. Говорят, он первую пару ботинок надел всего девять лет назад.

– Даже если и так, то вдова не имела абсолютно никакого отношения к его делам.

– Она только прикидывается дурочкой, – не унимался парикмахер.

Сеньор Кармайкл поднял голову и высвободил шею из простыни, чтобы не так давила.

– Вот поэтому я предпочитаю, чтобы меня стригла жена, – сказал он. – Не стоит ни сентаво, и, кроме того, она не болтает о политике.

Парикмахер толчком наклонил его голову вперед и молча продолжал стричь. Временами он лязгал над головой клиента ножницами от избытка мастерства.

Тут до слуха сеньора Кармайкла донеслись с улицы крики. В зеркале отразились проходившие мимо открытой двери дети и женщины с мебелью и разной утварью из перенесенных домов.

– На нас сыплются несчастья, а вы все погрязли в политических разборках. Прошло больше года, как прекратились репрессии, а вы толкуете только об этом.

– А то, что мы брошены на выживание – разве это не репрессия? – парировал парикмахер.

– Но ведь нас не избивают.

– А бросить нас на произвол судьбы и не думать о нас – разве не то же самое, что избивать?

– Это газетные «утки», – сказал, уже не скрывая раздражения, сеньор Кармайкл.

Парикмахер молча взбил в чашечке мыльную пену и принялся обильно наносить ее кистью на шею сеньора Кармайкла.

– Иной раз так хочется почесать язык, – как бы оправдываясь, сказал он. – Когда еще доведется встретить такого беспристрастного человека.

– Поневоле станешь беспристрастным, когда надо прокормить одиннадцать ртов, – пробурчал сеньор Кармайкл.

– Это точно, тут ничего не попишешь, – подхватил парикмахер.

Он провел бритвой по ладони, и бритва запела. Он стал молча брить затылок сеньора Кармайкла, снимая мыло пальцами, а потом вытирая пальцы о штаны. Под конец он потер затылок квасцами, так и не проронив ни слова.

Застегивая воротник, сеньор Кармайкл увидел на задней стене объявление: «Разговаривать о политике воспрещается». Он стряхнул с плеч оставшиеся на них волосы, повесил на руку зонтик и спросил, показывая на объявление:

– Почему вы его не снимете?

– К вам это не относится, – сказал парикмахер. – Мы с вами знаем: вы человек беспристрастный.

На сей раз сеньор Кармайкл прыгнул через лужу на тротуар не колеблясь. Парикмахер проводил его взглядом до угла, а потом уставился как загипнотизированный на мутную, грозно вздувшуюся реку. Дождь прекратился, но над городком по-прежнему висела свинцовая дождевая туча.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.